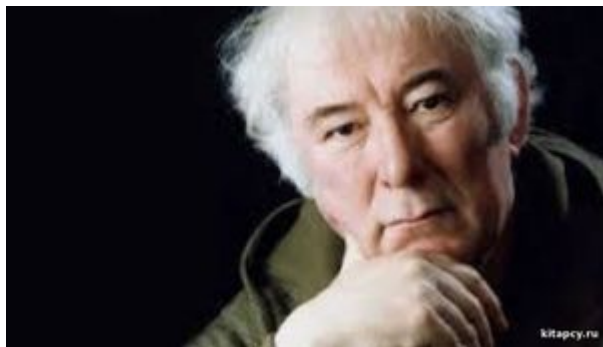


Стихотворения Шеймаса Хини

Category: Goşgular, Kitapcy

написано kitapcy | 26 января, 2025

Стихотворения Шеймаса Хини СТИХОТВОРЕНИЯ ШЕЙМАСЯ ХИНИ



• СЕВЕР

Я вернулся туда,
где в подкову залива,
бьет Атлантики вал –
мерно и терпеливо.

Я глядел в эту даль,
где скрывался исландский
скудный берег... И вдруг
из глубин океанских

те свирепые воины,
что под дюнами Дублина
спят в ладьях погребальных –
иль, врагами изрублены,

упокоились, рядом
с обломком меча, –
ярым взором сверкая
в талой влаге ручья,

эти викинги мертвые,
в запоздалой печали
из тумана воззвали ко мне
и вещали:

«Молот грозного Тора –
о стыд, о бесчестье! –
откачнулся к торговле,
блудодействию и мести,

к лицемерью в совете,
заросшему жиром,
к передышкам резни,
величаемой миром...

Так заройся, певец,
в свою норку, свернись там,
мозговитым клубком,
горностаем пушистым.

Сочиняй в темноте,
где живут только тени.
От полярных сияний
не жди озарений.

Зренье не оскверни
светом ярким и желтым,
доверяйся тому,
что на ощупь нашел ты.

Перевод Г.Кружкова

• **ГЕРАКЛ И АНТЕЙ**

Небородённый, царственный воин,
змеедушителю, навозовздымателю,
упитанный яблоками золотыми,
увенчанный своей будущей славой,

Геракл могучий преодолагает
сопротивление исполина

и колдовские чары округи;

Антей, земли потливой любимец,

лишь возраставший силой в паденье,

от лона материнского отнят
и поднят, лишенный опоры, в воздух;
его противника ум и хитрость –

как две скрещенные шпоры света
или как вилы двузубые, его исторгли
из соприродной ему стихии,
ввергая в смутный сон об утрате,

в воспоминанье о темных недрах
былого, о том младенческом мраке
пещер, корней и жил сокровенных,
откуда сила его возникла, –

о тех излогах тьмы первобытной,
которые он завещал оплакать
поэтам. Бэлор должен погибнуть,
и все обреченное племя фоморов.

Напрасно из потревоженной глуби
доносятся туманные стоны –
Геракл воздевает стальные руки
в могучем и яростном жесте победы,

вздымая над собою, как штангу
или как брус рифлённый, коньковый,
недвижно застывшего великана –
наследие тех, кто лишен наследства.

Перевод Г.Кружкова

• *Размером Одена[/b]*

[i]Памяти Иосифа Бродского

Джозеф, помнишь этот ритм?
Оден, твой любимый бритт,
Брел под гул таких же стоп,
Провожая Йейтса в гроб.

Ать-и-два! Под этот счет
В этот распроклятый год,
В день твой, дважды роковой,
Января двадцать восьмой,

Я шагаю вам вослед,
Зажимая боль в куплет,
Меря им – твои слова –
Скорбь и разум – ать-и-два!

Ни фантазий, ни химер –
Скорби скованный размер;
Шаг за шагом учит он:
Повторение – закон.

Повторится без конца –
Стужа, вьюга, смерть певца.
Как корабль, во льдах затерт
Дублинский аэропорт.

Этот жесткий, твердый лед
Не отпустит, не пройдет:
Лед кладбищенских шагов,
Лед архангельских снегов.

В нем не сделаешь пролом
Ни пером, ни топором;
Адской бездны глубина
Проморожена до дна.

Заморожен, как ледник,
Сердца твоего родник.
Уж его не прошибет
Ни бокал, ни анекдот.

Помнишь, как ты мне в бокал
Водку с перцем наливал
В массачусетской глуши –
Для согрева, для души?

Как любил ты шутки звон —
Брысь, политкорректный тон!
Гладил ты не по шерсти
С вечным кэмелом в горсти.

Помнишь финский наш вояж,
Треп совместный, смех и блажь,
Схлест насмешек и сатир —
Перекрещенных рапир?

В Тампере лежал наш путь:
Ты не мог не помянуть:
Дескать, мы с тобой идем
Верным, ленинским путем.

Не вернуть ни смех, ни пыл —
Как стихи ты важно выл!
Как с авианосца ввысь
Шутки с грохотом неслись!

Не вернуть твоих чудных
Каламбуров заводных,
Рвущийся стихов поток
Сквозь анжембеманы строк!

Как ты бешено пылил
На английском! Как любил
Гнать на нем аж миль под сто,
Как на угнанном авто!

Лишь язык боготворя,
Верил в слово ты. А зря.
Копы времени, озлясь,
Лихача вдавили в грязь.

Так смирись, как Гильгамеш,
И лепешки праха ешь,
Помня Одена завет:
Только этим сыт поэт.

Перевод Г.Кружкова

• **В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СВЕТЕ**

Застывший жир свечи в потеках сажи
От фитиля... И заскорузлый ноготь
Большого искалеченного пальца,

Как раковина древнего моллюска...
Впервые электрическую лампу
Я видел в доме бабушки. В тот день

Она сидела, как обычно, в кресле
В своих ушастых войлочных обувках,
Твердя в испуге: «Боже, что с тобой?»

Но я был безутешен. Позже, в спальне,
Укрывшись простыней от желтой лампы,
Всю ночь включенной, я лежал и плакал...

«Что тебя мучит, дитяtko мое?»
Беспомощный, далекий, слабый шепот,
Как плеск воды в пещерной темноте.

* * *

И снова – шорох волн, и прорицанья
Сирен английских. И пустой причал,
Куда я неминуемо пришел,

Когда пришла пора. Паром, скребущий
Гладь серого Белфастского залива,
Утренний поезд, как припев из песни:

«Прощай и не забудь!» Тылы домов,
Похожие на спины старых женщин,
Цистерны, заводские корпуса,

И пугало воронье на задворках,
Забор, пустырь, футбольная площадка –

И вспаханная даль, как пах пространства.

Я вышел в Саутворке из метро –
Из тьмы на свет. И вдруг «на чуждом берегу»
Повеяло родным Майольским ветром...

* * *

Подставив стул, я дотянуться мог
До выключателя. Мне разрешалось
Свершать – одним касанием – волшебство.

Мне также разрешалось, щелкнув ручкой,
Включать приемник. Сквозь иллюминатор
Шкалы сочился свет – и мир звучал!

Потом я помню: шторы, затемнение...
Приемник отключили. Бой Биг-Бена,
Последние известья – все умолкло;

Лишь в тишине пощелкивали спицы
Да ветер выл в трубе. Она сидела
В своих обувках войлочных, и лампа

Горела лихорадочно над нами;
Я помню до сих пор тот страшный ноготь –
Такой потрескавшийся, слюдяной

И твердый, словно плектр: когда-нибудь
Его найдут в земле меж позвонков
И бусин каменных – и подивятся.

Перевод Г.Кружкова

• Приключение

В душе любовь – иероглиф,
А в теле – книга для прочтения.
Водружен на каталку, пристегнут, поднят
В машину, зафиксирован прочно –

И пошло трясти, вытряхивать душу

На хорошей скорости. Медсестра
Впереди с шофером, а ты примостилась
В уголку на сиденье узком, напротив,

И за всю дорогу между нами ни слова:
Все, что можно сказать, было сказано молча,
Одними глазами. Не забыть той поездки

В медицинской карете воскресной ранью,
Было б кстати сейчас процитировать Донна
Про беседу двух душ, разлученных с телами.

II

Разлученных! Тот звук – как удар колокольный
Из далеких времен, когда пономарь наш,
Малахи Бойл, гремел над Беллахи –

Или когда я сам был в колледже
Звонарем; до сих пор ощущаю тягу
Колокольной веревки в руке своей, прежде

Теплой и сильной, – теперь она виснет,
Как язык у колокола, косным грузом,
А ты ее держишь, не выпускаешь

Всю дорогу, пока мы мчимся сквозь Данглоу
И сквозь Глендон, и линию наших взглядов
Трубка капельницы делит, как медиана.

III

Возничий из Дельфов стоит непреклонно:
Пусть нет колесницы его и упряжки,
И нет половины руки его левой,

Обрубленной грубо, – но в правой руке
Он держит поводья и смотрит упрямо

Вперед, в пустоту, где шестерка коней

Была да сплыла. Он похож на меня,
Когда, распрямясь, в коридоре больничном
Я переставляю упорно ходилку,

Как будто возникши я сам или пахарь,
И каждый бугор, каждый камень под плугом
Пытается вырвать из рук рукоять.
Перевод Г.Кружкова

• ЦЕПЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Теренсу Брауну

Я видел в телехронике момент
Раздачи продовольствия голодным:
Солдат, стреляющих поверх толпы,

И – крупно – белые мешки с пшеницей,
Передаваемые по цепочке
Сотрудниками Красного Креста;

И руки вспомнили внезапно тяжесть
Мешка, когда его берешь, нагнувшись,
За два угла и по сигналу глаз

Бросаешь, раскачнувшись, на прицеп
Укладчику. О, миг освобожденья
И легкости в лопатках перед новым

Наклоном и рывком! Такого больше
Тебе не испытать. Или, быть может,
В последний только раз – и навсегда.

Перевод Г.Кружкова

• ПЕСНИ ОТШЕЛЬНИКА

Посвящается Элен Вендлер

Над тетрадкой моей
Шум ветвей и гомон гнезд. I

Из черных хлопчатобумажных штор,
Остатков от военных затемнений,

Заглаживая с краю и сшивая,
Сооружали мы обертки книг.

Годились в дело и куски обоев
С гирляндами аляповатых роз,
Хоть рыхлые обои с плотной тканью
По прочности, конечно, не сравнятся.

Порою из оберточной бумаги
Обложки делали – и из газеты,
Чтоб не затерлась новизна, чтоб помнить:
Ты не хозяин книги, а хранитель.

II

Открыть, устроиться, вдохнуть, погладить
Страницы – и вникать, не торопясь,
Как Фурса, Колум Килле и другие
Великие разгадчики загадок –

Или Мак Ойг, отшельник из Лисмора,
Ответивший, когда его спросили,
Какой характер лучший в человеке:
“Упорный – ибо он не отступает,

Пока не превозможет. Кто упорен –
Богу угоден”. Веские слова,
На глаз проверенные и на слух,
Обкатанные языком и нёбом.

III

Карандаши и хлеб. Запах портфеля.
А в нем – уроки, заданные на дом.

“Книга для чтения” второго класса.

Нам повезло – мы были школярами

В те времена. И как бы нас потом
Ни школили, нам повезло в начале:
Пастух учил нас на краю дороги,
Сивиллы вещие в крестьянской кухне.

В те времена сбывались чудеса:
Оказывался стёркой хлебный мякиш,
И бабочки с переводных картинок
Нам приносили вести из Эдема.

IV

В учительской хранился целый клад.
В жестянке – ворох деревянных ручек
С железною заверткой на конце –
Туда, “под ноготь”, перышко вставлялось.

И сами перья – стопками, как ложки,
Чернильный порошок, карандаши,
Блокноты, и линейки, и тетради –
Сокровища, как в сундуке пирата.

Честь высшая – быть посланным туда
За ящичком сверкающего мела
Или за прописями, по которым
Учились мы искусству подражания.

V

“В котором слове пишется три ‘е’?
Подумай, ведь не зря тебя учили. –
Мне говорил пастух. – А то спроси
Учителя, уж он, наверно, знает”.

Neque far esse, – пишет Юлий Цезарь, –
Existimant ea litteris mandare, –
Что значит: “Знание предавать письму,

По их обычаям, не подобает”.
Но изменились времена, и звали
Псалтирь в Ирландии с почтеньем: Каттах –
“Воительницей”, – ибо перед боем
Три раза ею обносили войско.

VI

Бойцы рассерженные на пиру
У Брикриу столь яростно схлестнулись,
Что искрами от их мечей, как солнцем,
Весь озарился зал. Тогда Кухулин

(Так говорится в саге), взяв иголок
У вышивальщиц, их подбросил вверх –
И, ушками сцепившись с остриями,
Они повисли в воздухе цепочкой,

Переливающейся и звенящей –
Так в памяти моей все эти перья
Взлетают, кружат и, соединясь,
Сливаются в лучистую корону.

VII

Еще одно виденье школьных дней,
Чье толкованье до сих пор туманно:
В ручей, в его холодное струенье
Я погружаю руку, наполняя

Графин. Мне повезло: меня послали
Набрать воды, чтобы учитель сделал
Из порошка чернильного – чернила.
Вокруг нет никого – вода и небо,

И тихо так, что даже пенье класса,
Несущееся из открытых окон,
Не нарушает этой тишины.
Быть одному – быть вдалеке от мира!

VIII

Чернильница – забытое понятие,
Тем более, чернильница из рога,
В которую когда-то Коллум Килле
Макал свое перо и возмущался

Нахальными гостями,
Что нарушают тишину Айоны:
Ворвутся крикуны,
Божбою буйной оглашая остров,

И, зацепив ногою, опрокинут
Мою чернильницу из рога бычья,
Быки безумные,
Прольют чернила.

IX

Одни поэты свято верят в мысль,
Что обнимает мир единым словом,
Другие – в высшее воображение
Иль память о единственной любви.

Что до меня, я ныне верю только
В усердье пишущей руки, в упорство
Строк, высиженных в тишине, и книг,
Которые хранят нас от безумья.

Книги из Келлса, Армаха, Лисмора.
“Воительницы”, вестницы, святыни.
Дубленая, просоленная кожа.
Надежные, испытанные перья.
Перевод Г.Кружкова

• ПОД САМОЙ КРЫШЕЙ

I

Как Джим Хокинс на салинге “Испаньолы”,

Когда он смотрел с накренившейся мачты
В прозрачное мелководье, а там –

Песчаное волнистое дно, над которым
Проходят стайки полосатых рыб, – и вдруг
Лицо Израэля Хендса, каким его Джим

Увидел на вантах пред тем, как выстрелить, – снова
Встает, колыхаясь... “Но он уже дважды мертвец –
Прострелен пулей и водой захлебнулся”.

II

Сквозь ветки березы, разросшейся за двадцать лет,
Гляжу на Ирландское море в окно мезонина –
То ли моряк, высаженный на пустой островок,

То ли юнга в бочке на верхушке грот-мачты,
Опьяневший от ветра, капитан своей собственной жизни,
Слушающий, как гудят дерево и такелаж

От киля до клотиков, и уплывающий вдаль
Вместе с этим шумом и колыханьем теней,
С этой волнующейся, как шхуна, березой.

III

Из коридоров прошлого, из темных его глубин,
Неслышно ступая, является дед мой умерший.
Голос его дрожит, как колеблемый сквозняком

Полотняный задник в клубе на детском спектакле,
С которого я только что вернулся. “А Исаак Хендс, –
Допытывается он, – был ли там Исаак?”

Его память так же колеблема и нетверда,
И провалы ее окончательны, как этот всплеск,
Когда тело Хендса кануло в воду залива.

IV

Я тоже старею и начинаю забывать имена,
И моя неуверенность на лестнице
Все больше походит на головокруженье

Юнги, впервые карабкающегося на рею,
И все больше памятных, неизгладимых страниц
Стирается начисто, но и теперь

Я ощущаю, как будто въявь и сейчас,
Этот палубы вздрог и горизонта крен,
Когда якорь поднят и ветер крепнет в снастях.
Воздушный змей для Эйвин
Ветер из иного, нездешнего мира,
Ветер высоты поднимает и держит
Белое крыло, что трепещет в небе...

Это змей воздушный! Как будто в детстве,
На лужайке, куда мы высыпали все вместе
Посмотреть, как отец запускает змея, –

Я опять стою, шаря взглядом в небе,
На лугу все том же – и вновь пытаюсь
Запустить длиннохвостую эту птицу,

А она там бьется, дрожит, ныряет
И опять тянет вверх, пока не взовьется
В вышину под общие крики восторга,

И летит, разматывая, как с катушки,
Нить с моей руки, и восходит к небу,
Как цветок, растущий на длинном стебле;

Выше, выше восходит змей – и уносит
Взгляд тоскующий все дальше и дальше в небо,
Пока нить не лопнет и, торжествуя,

Он умчится прочь от нас, одинокий
И свободный – как паданец, взмахом ветра
Сорванный с поредевшего древа.

Перевод Г.Кружкова

• **ИДУЩИЙ СЛЕДОМ**

Отец идет за плугом, пригибаясь
и понукая потных лошадей.

Его спина белеет, словно парус,
пустившейся по пахоте ладьи.

Умелец, как он ловко налегает,
как лемех входит в черные пласты,
какой волной земля над ним вспухает.
Дойдя до края, как, без суеты

одним движением меняет курс
команды потной. Глазом смерив
уклон земли, ее покатый торс,
он борозду ведет, руке доверив.

Малец, я ковылял за ним, как мог,
по комьям взрезанной земли сползая,
порою на плечах его, как Бог,
вздымался ввысь и падал, замирая.

В мечтах я видел пахарем себя
с таким же глазомером и уменьем.
Тогда я мог лишь следовать, любя,
быть тенью его стелющейся тени.

Я ныл и падал, бороздой петляя,
я лип, подобно банному листу, но
теперь он сам, неверно ковыляя,
бредет за мною следом неотступно.

Пер. В.Черешни

• **МЫС**

Когда все сказано, садись за руль
и поезжай на мыс.

И небо, и шоссе стремятся ввысь,
земля безвидна, неприютна даль,
но мимо, мимо. Наблюдай, вникай.
Темнеет. Горизонт глотает море, сушу,
поля съедают сливки белых крыш.
И вот, ты в темноте. Припоминай

зализанный песок с занозой бревна,
терзанье волн у лап скал-кружевниц,
застывших длинноногих птиц,
в тумане тонущие острова.

И возвращайся, полный до краев
молчанием и знанием окраин:
ты ищешь формы, смутю измаян,
но не земля с водою – им она мала.

Пер. В.Черешни

Боярышника запоздалый свет
Горит зимою в зарослях колючих;
Не ослепляя яркостью гирлянд.
Но призывая каждого – хранить
Свой скромный фитилек самостоянья.
А иногда в мороз, когда из уст
Клубится пар, он принимает образ
Бродяги Диогена, днем с огнем
Искавшего повсюду человека,
И пристально разглядывает вас,
Подняв на зыбком прутике фонарик,
И вы дрожите перед этим взглядом.
Пред той колючкой, что у вас из пальца
Возьмет анализ крови, пред экраном,
Что вас насквозь просветит –
и пропустит...

Перевод Г.Кружкова

• **ИСЧЕЗАЮЩИЙ ОСТРОВ**

Едва мы свыклись с тем, что обживать
Придется этот каменистый берег,
И, продрожав и промолившись ночь,
Собрали топливо и над костром
Повесили котел, как небосвод, –
Распался этот остров, как волна.
Твердь, за которую схватились мы,
Лишь в миг отчаянья казалась твердью.
На самом деле, это был мираж.

Перевод Г.Кружкова

• **ПРОЩАНИЕ**

Я помню тебя в наряде простом,
И блузка, и юбка была проста.
С тех пор, как леди оставила дом,
Мучит его пустота.

Когда ты вошла, мы остались одни,
Время встало на якорь твоей улыбки,
Пропала – и снялись с якоря дни,
Нарушено равновесие зыбкое.

Дни внезапно отправились в плаванье
От палящего, через весь календарь, до снежного,
Подгоняемые звуками плавными
Голоса твоего нежного.

Нужда источила мои берега,
Ты ушла, я в море безбрежном.
Пока ты не отменишь приказ –
Я остаюсь мятежным.

Перевод Сергея Бойченко

* * *

Я проснулся от крика чаек в Дублине.
На рассвете их голоса звучали
как души, которые так загублены,
что не испытывают печали.
Облака шли над морем в четыре яруса,
точно театр навстречу драме,
набирая брайлем постскриптум ярости
и беспомощности в остекленевшей раме.
В мертвом парке маячили изваяния.
И я вздрогнул: я – дума, вернее – возле.
Жизнь на три четверти – узнавание
себя в нечленораздельном вопле
или – в полной окаменелости.
Я был в городе, где, не сумев родиться,
я еще мог бы, набравшись смелости,
умереть, но не заблудиться.
Крики дублинских чаек! Конец грамматики,
примечание звука к попыткам справиться
с воздухом, с примесью чувств прапаматери,
обнаруживающей измену праотца –
раздирали клювами слух, как занавес,
требуя опустить длинноты,
буквы вообще, и начать монолог свой заново
с чистой бесчеловечной ноты.

© Шеймас ХИНИ,
Лауреат Нобелевской премии 1995 г.

Стихи перевод с ирландского. Goşguġar